

Суббота. Конец смены. Ссыпал стружки в ящик и протер станок ветошью. Середина лета. Уже шестой час, а жара не унимается. Окна открыты, и пахнущий зноем сквознячок колышет куст аспарагуса на подоконнике. Всё, сейчас домой и под душ, переодеться, перекусить по-быстрому — и в центр: в субботу у клуба большая игра.

Этой весной председатель профкома, чтобы «вовлечь молодежь в культурно-массовые мероприятия», привез два кирзовых мяча и сетку. Вкопали два столба и разметили площадку, выдолбив по периметру канавки. Школьный физрук объяснил правила, и началась волейбольная эпидемия — каждый вечер дотемна пасовали, блоки ставили и «резали». Играли «на вылет» — проигравшая команда уступала место следующей. В сумерки жены уводили своих мужей по домам, а парни разбирали девушек-болельщиц и шли дружить в березовую рощу за околицей.

Пошел к умывальнику отмыть каустиком въевшуюся в руки жирную грязь. «Подожди-ка, поговорить надо, — остановил меня пожилой токарь дядя Юлиус. — Меня в Устьянку на наш покос посылают: балаган перекрыть, печь сложить, ну и все другое приготовить для бригады — в ту пятницу косить начнут. Велели двух помощников себе подобрать. Иван поедет и просил тебя взять (Иван — его сын и мой дружок). Поедешь?» — «Когда? Я это... дела у меня... С ходу как-то...», — залопотал я, лихорадочно соображая, как бы половчее отказать. Старый понял мои терзания и, морща уголки светлых глаз, пошел с козырей: «Уток постреляем, сеть на ночь ставить будем, бредень потаскаем, накупаемся, а в субботу уже дома будем». — «Еду!» в волейбол сегодня наиграюсь, любимую провожу и выдержу до следующей субботы.

Мать на рассвете подняла меня. Выпил кружку парного молока и, взяв сумку с едой и мешок с постелью, пошел проулком к дому Фоотов.

Волы уже в ярме. Передок арбы набит сеном, на котором сидит мать Ивана в низко повязанном белом платке и Фридка — его сестренка. В задок нагружены доски, кирпичи, узлы с постелью и прочие нужные материалы и инструменты. «Засоня, — растянул друг толстую губу, — п-помоги-ка». Я помог ему подать на воз тяжелый ящик с гвоздями. «Т-табачку-то взял?» — спросил он тревожным шепотом. Я чиркнул пальцем по горлу. «Усаживайтесь, ехать пора», — поторопил нас Юлиус Давыдович.

Тронулись. Когда выехали за село, взошло солнце, сразу белое и колючее. Мы с Иваном надвинули кепки на лица и уснули.

К обеду так жарить стало, что не до сна. Вода в лагунке набултыхалась и жажду не утоляет. «Сверни, отец, в околок. Отдохнем в тени, поедим», — попросила тетя Фрида мужа. «Часика полтора-два можно отдохнуть», — обрадовал нас хозяин и свернул к близкому леску.

Какая роскошь эти рощи в степи! На опушке трав и цветов всяких — по колению! Выпаренные из них зноем волшебные запахи проникают в каждую клеточку и кружат раскаленную голову. Бабочки разноцветной метелицей порхают над благоухающей поляной. Шмели бьют, вторя неумолчному дрожащему стрекоту кузнечиков. Только птицам не до песен — выводок на крыло ставить надо. На рассвете пошебечут, посвищут коротко, отведут душу — и за работу. Весь день, дотемна, суют в страшные ненасытные глотки ненаглядных деток жучков-червячков.

Распряженные волы вошли по пузо в бочажку с родничком и жадно пьют большими глотками, раздувая бока, дуя ноздрями на мух. Мы сбросили раскаленную пыльную одежду за ракитовым кустом и плюхнулись в воду, распугав водомерок. Ах, благодать! Ах, красота! С любимой бы здесь в шалашике лето прожить! Плескаться в прохладной родниковой воде и лежать рядышком в сладком дурманящем сумраке шалаша на пушистом сене. Во рту шершаво стало от этого видения, а в животе — как льдинку проглотил. Еле отогнал эту сладкую мороку...

Тетя Фрида с дочкой, не сняв рубашек, тоже у берега поплескались и приседали. Долго барахтались, аж пупырышки по телу пошли. Бодрыми к возу вернулись, поели домашнего. Завтра печь соорудим, и наши стряпухи кашеварить будут. Крупу, картошку, муку и комбижир нам на неделю в МТС выдали. Мясо мы сами добудем, а уж рыбы не только на уху и жареху наловим, но и впрок засолим, засушим и навялим.

Отдохнув, соорудили на арбе из четырех жердочек с рогульками тент из байкового одеяла и отправились дальше. Дрожащий воздух приподнимает над горизонтом полосы степи и далекие рощицы и колышет их миражами на фоне белесого марева. На покачивающейся арбе опять влываем в душное полузабытье дремоты.

Когда жара спала, мы ожили и убрали с колышков одеяло. Унялась дрожь атмосферы, и приутих звон кузнечиков. Воздух прозрачен, и до самого края земли все теперь видно четко и ясно.

Незадолго до заката свернули к длинному лесу. От него идет длинный пологий спуск в широкую, до далеко отодвинувшегося горизонта, долину, которую за многие тысячелетия вымыла и разровняла могучая доисторическая река, пробивая себе дорогу к Ледовитому океану. Мы стояли над такой же плоской и бескрайней степью, как и наша Кулунда, но зовут ее Бараба. Необычен и таинственен этот плоский необозримый каньон, лежащий под нами:

закатное солнце зажгло поверхность множества болот, озерков, проток и стариц, и полыхали они золотой иллюминацией, подсвечивая в розовое полоски тумана, стелящиеся над посиневшей степью. Из этой сине-розовой дымки светлой змейкой вьется тихая речка и втекает в полыхающее озеро. Но потух последний лучик, и каньон мгновенно укрылся темным покровом, по которому, то появляясь, то пропадая, тусклыми приведениями забродили ключья тумана. Загадочна, прекрасна и незабываема эта картина!

Переспали на возу и, позавтракав на скорую руку, принялись за работу. Пока мы с Иваном выбрали и срубили с десяток молодых березок и ворох лозняка, подтащили все это к просевшему балагану, родители Ивана подправили навес, залатав его молодым камышом, отремонтировали и помазали стоящую под ним печь. Из высокой трубы, которую завершало ведро с выдавленным дном, струился серый дымок, а маленькая Фридка шустро чистила картошку.

Сорвали со стропил и утащили в осинник старое трухлявое покрытие балагана, чтобы солнце выжарило и испарило тухлую сырость, накопившуюся за зиму под этим толстым слоем веток и сгнившего сена. Пока поспевал обед, успели еще и небольшой загон для наших волов загородить, привязав к деревьям жерди мятой лозой. «А то уйдут вниз, ищи их потом по болотам. Тут на опушке литовкой за пять минут им на два дня сена накосить можно. Пусть на глазах будут, спокойнее», — объяснил Юлиус Давыдович.

Стан для бригады ставят здесь наверху потому, что внизу, у реки, где покос, сыро и туман долго стоит. Косить по росе, конечно, легче, но спать холодно и сыро и, главное, комаров там — тучи! Днем на солнце они не очень надоедают, а ночью от них спасу нет. Не отдых, а мучение. А здесь наверху благодать: светлая березовая роща, чистое озерцо, наполненное мягкой, сладкой, родниковой водой. Поплещешься в ней перед сном — и спишь, как младенец, которому бабка нашептала, а чай и уха из этой воды особенно вкусны и душисты.

«Папа, а когда сеть п-поставим и уток п-постреляем? — спросил Иван за обедом. — Зачем нам еду на п-прогорклom комбижире жевать, когда свежина т-тучами внизу летает?» «А сегодня и начнем. Часиков до семи поработаем и спустимся к озеру. Там место хорошее, камыш кругом, дно твердое и чистое — невод хорошо тянуть, сети ставить. Селезень только через недельку-другую в крепь линять уйдет, а пока на чистое садится, вот мы этих холостяков и постреляем. Они в эту пору на чучела и манок дуром прут, ведь утки с выводками от этих женихов по болотам попрятались, и мы их не потревожим».

Чтобы унялась дрожь ожидания предстоящей охоты, мы с Иваном рьяно принялись за работу. Так увлеклись, что не сразу услышали, как Фридка нас на ужин аукает. Быстро искупались — и к стану!

На опушке разостланы сеть и небольшой невод. Снасть дореволюционная, добротная, из конопляной нити. Поплавки из рулончиков бересты, а шары грузил из обожженной глины. На столе раскрыт окрашенный зеленым суриком и высланный распоротыми рукавами старой фуфайки фанерный пенал. В нем лежит «чудо чудное» — старинное шомпольное ружье, которое за мешок овса уступил деду Ивана бийский кержак. Запасливый сибиряк хранил его только потому, что «можа кады и сгодится». Вишь, и сгодилось — коню аж цельный мешок овсеца за ржавую железяку у дурного немца урвал.

Но потомок прусских мастеровых, сам мастер на все руки, сразу угадал, что это шедевр тульских оружейников и, конечно, отдал бы за него и три мешка овса. Он отмочил в керосине ржавчину с восьмигранного ствола 10-го калибра; отполировал его до блеска снаружи и внутри смесью

машинного масла и в пыль растертой пемзы; перебрал, почистил и смазал замок; заменил полусгнивший, треснувший приклад, выстрогав из свиловатого комля кулундинской березы изящное ложе, продержав его сутки в кипящем растворе растительного масла и воска, и служит это ружье верой и правдой вот уже третьему поколению семьи сибирских меннонитов.

Дядя Юлиус развернул длинный брезентовый сверток и, таинственно улыбаясь, вытащил из рулона старую обшарпанную берданку. «Это я для вас на проходной взял. Правда, патронов только семь штук». Хитрый старикан, чтобы мы у него не канючили из «Паркизона» (так он свой самопал называл) пострелять, он это ружье у вахтера выпросил. Да нам теперь его мортира и задаром не нужна! Свою засидку устроим и покажем старому, как стрелять нужно. Влёт! Это тебе не с сошки-подпорки, сидя на мешке с сеном, палить по куче селезней, подсевших по дурости к размалеванным под невест чучелам. Тут, брат, искусство!

Наскоро поужинали и, разобрав груз, спустились к озеру. «Идите к концу протоки у болота и там сеть поставьте — к утру в нее ведра два карасей набьется. Оттуда невод назад к этому месту потянете — щурят, окуней и чебаков добудете. А я пойду на свое прошлогоднее место — там холостые крикаши на чистое ночевать пролетают и к чучелам, и на манок обязательно свалят», — сказал нам дядя Юлиус и, накинув на плечо ремень своего пенала, подхватил мешок и ушел вдоль кромки камыша.

Не мешкая, спрятали одежду и берданку в камышах (только кепку свою Иван до ушей натянул — там у него под подкладкой курево спрятано), подхватили сеть с бреднем и, вспугивая куликов, напрямик поспешили к болоту. Поставили поперек устья протоки сеть и, бесшумно раздвигая воду, потянули бредень назад к спрятанному ружью и одежде.

Я тянул у берега, а «продолговатый» Ванька, выпучив светлые глаза и набычив лобастую голову, буксиром прет «по глыби». Губищу нижнюю выпятил и бормочет что-то себе под нос — рыбу заговаривает, ведьмачит.

Порозовевшая от низкого солнца вода лениво колыхалась за нами. Временами во все стороны прыскали от нас серебряные стручки мальков. Иван пощелкал оскаленными зубами и провел ладонью по кадыку. «Щук тут навалом», — расшифровал я. Прошли еще шагов двадцать, и он указал подбородком на небольшую прогалину в камышах и, обгоняя меня, начал заводить невод к берегу. В этот момент возле него так невод рвануло, что палку из рук вырвало, и только веревка, перекинутая через плечо, удержала невод на месте.

«Своди!» — заорал он и изо всех сил налег плечом на бечеву. Я распластался над водой, чтобы достичь берега вместе с ним. Тяжесть такая, будто двухпудовая гиря в невод угодила, но внезапно напор ослаб, и я от неожиданности плюхнулся лицом в воду. Невод провис, как нижняя губа обескураженного Ивана, которая шипела что-то малость нецензурное. Не успел он закончить свою реплику «в сторону», в мотню так садануло — чуть нас не опрокинуло. Мы так заорали и так к берегу припустили — от мотни бурун, как от моторной лодки пошел! Угомонившиеся, было, чайки от нашего шума опять всполошились и заголосили мартовскими кошками.

Оттащили невод подальше от воды и без сил рухнули на холодную колючую траву. В мотне, гулко шлепая хвостом, билась большущая рыба, уводя большую поляну в молодом камыше. Наконец, рыба приутихла, и мы, отдышавшись, подошли к зверю, которого поймали. Среди десятка трепыхающихся мелких рыбешек чурбаком лежала громадная щука.

«Ёшкин свет!» — сделал большие глаза Ванька и, присев на корточки,

ткнул в нее сучком и тут же отпрянул, опрокинувшись на спину и задрал большие, косопалые, сморщенные от воды, белые ступни. Щука от его тычка, оттолкнувшись хвостом, встала на голову и, перекувыркнувшись, истерично забилась, брызгая тиной и грязью. Наконец, затихла и только изредка вздрагивала и хлюпала жабрами.

Почесывая поцарапанный колючей травой зад, он снова присел и осторожно убрал с добычи налипшую траву и ряску, поманил меня к себе и показал пальцем. Так вот почему эта торпеда застряла в нашей ветхой снасти! Ее морда до глаз торчала в петле из трехмиллиметровой медной проволоки, на которую нанизана гроздь глиняных шаров-грузил. Если бы эта «ихтиология» долбанула рядом с этой петлей, то мы с другом Ваней мучились бы всю жизнь, гадая: не водяной ли, часом, ушел от нас, оставив в наших руках только колья, поводки да лоскуты от дореволюционной снасти.

Высвободили морду щуки из петли и с трудом вытряхнули ее на еще не затоптанную траву. Я смерил ее камышиной, поставил мерку между ступнями и прижал к животу. Мерка чуть выше пупа — почти метр! «Все равно пацаны не поверят. Опять подхренивать будут». — «Я голову еёную высушу — п-поверят», — успокоил меня друг.

Вдруг далеко слева гулко бабахнуло, и гром выстрела поскакал по блестящей, как ртуть, воде и, ударившись о противоположный берег, чуть ослабев, вернулся назад: «Бу-у-у-у-у...» Пока мы возились со своей добычей, начался лёт, и дед открыл пальбу из своей фузеи. Мы торопливо кинули в камыши свернутый невод — завтра дальше потянем. Сунули щуку в рогожный мешок и бегом поволокли по траве к схоронке с ружьем и одеждой.

Пока добежали, раздался еще один залп самопала. От гула выстрела суматошно, во все стороны, со свистом понеслись несчетные стаи уток. Мы с другом, ошалев от этой круговерти, хватались то за штаны, которые не лезли на мокрые ноги, то бросались потрошить сверток брезента, который тоже не хотел разворачиваться и отдать ружье. Наконец, Иван все же выдернул его из рулона, рассыпав патроны в густой траве. Нашарив несколько патронов и выдернув ногу из так и не налезшей штанины, громадными скачками понесся к берегу, сверкая белым задом.

«Штаны-то надень, балда! Комары сожрут!» — крикнул я ему вдогонку. Куда там! Ему сейчас и рой шершней нипочем! Еще не добежав до камышей, промазал по внезапно возникшей над головой утке и запрыгал дальше. Я быстро оделся, отыскал в траве патроны и побежал за ним, чтобы отдать ему портки и самому пострелять, пока не стемнело.

Иван, пригнувшись, стоял по колени в воде и, замерев, смотрел сквозь камыш на тучи уток, носившихся над озером. Как пойнтер, стойку держит! Вдруг начал медленно приседать и, окунув в воду свой грязный зад, опять начал тихо приподниматься. Это что еще за физзарядка? Нашел время свои запачканные тела полоскать, чистоту наводить. Но светлое пятно отмытого тела, забелевшее было сквозь болотные заросли, опять начало гаснуть и через минуту совсем потухло. Ах ты, мать честная! Это же он не грязь со своего зада смывает, а вцепившихся в нее комаров топит!

Вдруг он выпалил неведомо во что. Я увидел, как прямо над ним столбом прыгнула вверх станичка уток, а один крякаш вынырнул из облака дыма и, теряя перья, пронесся надо мной и упал метров за сорок на луг. Стрелок выбежал из укрытия и сунул мне ружье. Подхватив штаны, побежал подобрать сбитую птицу.

Совсем стемнело. Только на светлой полосе западной стороны неба еще можно ясно видеть приподнявшихся водоплавающих. Комары окончательно

озверели, даже едкий дым бийской махорки не может отбить яростные атаки этих кровопийц. Пока сворачивал очередную козью ногу, прозевал прямо на меня низко летящих уток, а потом, в почти полной темноте, пальнул на шум крыльев и услышал, как невдалеке на воду шлепнулась утка, но ничего разглядеть не смог и вышел к мешку со щукой. Там, накрывшись брезентом, сидел Ванька и, как индеец, глубокомысленно дымил махоркой. Перед ним, белая брюшко, лежал кряквовый селезень.

Послышался хруст травы и шорох камыша. Ванька поспешно загасил свой «бычок». К нам, тяжело дыша, подошел Юлиус Давыдович, снял с плеч полный, мягко просевший мешок и внимательно осмотрелся. «И это всё?» — спросил он насмешливо, тронув сапогом селезня перед сыном. Я с трудом вывернул из мешка щуку. «Ёшкин свет! — воскликнул он. — То-то орали, как сумасшедшие, аж чайки с гнезд винтом взвились. Вот это рыба так рыба! Я такую в жизни не видал. Как она вас не утопила и снасть не порвала?» Мы ему рассказали, как она попалась. «Ну, прячьте ружье, подниматься будем, а то мать уже давно фонарем сигналит...»

Разбудила меня какая-то букашка, стремившаяся во что бы то ни стало залезть мне в нос. Я, не открывая глаз, смахивал ее с лица, но настырное насекомое снова и снова пыталось устроиться в приглянувшейся норке. Ну, сейчас я тебя... А-а-а, вот оно что... — это Фридка, еле сдерживая хихиканье, рядышком сопит... Ну, держись, вредная «засекомая»! Выждал и... прихлопнул шершавую ладошку. «Попалась, которая кусалась!» Отобрал у нее травинку и начал щекотать. Она брыкалась и тоненько визжала, просовывая острый язычок сквозь розовые десны, в которых не доставало двух верхних зубов.

Иван, завернув голову в одеяло, долго терпел нашу возню, но, когда сестренка угодила ему крепенькой пяткой по искусанному комарами заду, он, глухо зарывчав, сдернул с головы одеяло и начал валять и мять нас, как хотел. Еле вырвались из его широченных лап.

Нам крикнули, чтобы перестали «хулиганничать» и шли к столу, а то ничего не достанется. Прихватив вырывающуюся малышку, побежали к озерцу. Брат покурят ее по горлышко в прохладную воду и, не обращая внимания на визг, сунул под мышку и протер, как статуэтку, отжатой тряпкой. Даже визг головой подержал для удобства процедуры. Насухо вытер маминым фартуком и, шлепнув по попке, отправил к родителям. Понеслась через поляну, забавно откидывая далеко в стороны белые пятки.

Не хотелось покидать прохладную целебную водичку, которая уняла надоевшее жжение от комариных укусов. Так увлеклись водной процедурой, что даже затеяли было в догоняшки нырять, но строгий зов потребовал немедленно идти завтракать.

С каждым шагом тугой плотный дух жареной дичи отодвигал все дальше в глубь леса струящиеся запахи трав и цветов, а на опушке он, этот дух, стоял, казалось, до небес и кружил голову сильнее, чем разные там гортензии и настурции. «П-пожре-ем! — втянул в себя мой кореш целый кубометр этой «амбры» и, с сожалением расставаясь с проглоченным ароматом, выдохнул: — Ёш-шкин свет!»

До сих пор помню все подробности этого очень позднего завтрака в тени навеса из молодого камыша на пестрой опушке пронизанной солнцем рощи. В середине сколоченной из сосновых плах столешницы стоял казан, накрытый сковородой. Рядом — эмалированный китайский таз с целиком зажаренными кряквами. Фрида Абрамовна из подола своего фартука раздала нам по горячей румяной лепешке, спеченной в золе по-казахски. Сняла с котла

сковороду и наполнила наши миски горячим, с пылу с жару, бульоном. «Братцы вы мои! Люди добрые! Вы такого бульона, забожусь, сроду не едали», — как утверждал рыжий пасечник из-под Диканьки.

Позже, когда пришла относительно благополучная жизнь, я стал заядлым охотником. Иногда удачливым. Из добытой дичи сам пытался повторить запах и вкус того незабываемого пиршества на покосе. Получалось очень вкусно и иногда пахло чуть похоже, но так, как тогда, — никогда. Голодное детство и скудный достаток хлеба насущного в юности, где яичница с салом и сладкий суп из сухофруктов с хворостом были редкой праздничной едой, запечатлели в памяти бульон тети Фриды как вершину кулинарного искусства, взобраться на которую ни мне, ни даже хитрому гурману Биолеку не суждено, хотя специй у него со всего экватора не счесть. Но где, *bitte schön*, он в тесной цивилизации, в нескольких шагах от плиты пучок чабреца, жменьку золотых кнопочек пижмы, веточку черной смородины и листик душистой мяты, дикого чеснока и зверобоя добудет? А Фридка, покрутившись по поляне, через несколько минут выложила все это из своего передничка маме на стол. И луковица в хозяйстве тоже нашлась, да в придачу три листика лавровых с моря Черного, Понта Эвксинского! Слабо, *Heft Biolak*, с вашими засушенными размолотыми порошками из Индии, с Целебеса или Маврикия такого, ни с чем не сравнимого, аромата достичь!

Выхлебали это степное благоухание, у которого вкус дичины был так силен и плотен еще и потому, что наша искусница добавила в это сказочное варево мелко нарубленные и поджаренные с луком потроха. С добавкой бы тоже справились, но для каждого, даже для Фридки-егозы, еще и кряковий селезень зажарен! Но та зевать начала, пучить слипающиеся глаза и, наконец, уронила голову на кулачок с зажатой недотеребленной утиной ножкой. Мать унесла ее на ворох пушистого сена под арбой и накрыла платком.

Мы с Иваном прибрали по увесистому селезню, прихватив и Фридкиного одноногого, приберегая лакомые кусочки напоследок. Сначала схрумкали крылышки, потом гузку с боками и уж затем ножки и по три ломтика темной душистой грудинки с хрустящей жирной кожей. «Житуха! — погладил живот осоловевший Ваня и воспитанно рыгнул, прикрыв губу жирными пальцами, и добавил: — Ёшкин свет». Я, чтобы не спугнуть нирвану, отправился в тень молча.

Часа полтора поспали в тени и принялись за работу. Договорились, что охотиться будем по очереди — один вечером, другой утром, чтобы не мешать друг другу. Вечером кинули пятак — выпало Ивану. Спустились к протоке. Выпутали из сети-пятиперстки десятка два толстых золотых карасей и с трепетом потащили невод, но ничего неожиданного не произошло. В три захода все же выловили с ведра окуней, чебаков и шурят.

Иван ушел с ружьем к засидке, а я, завязав мешок, потащил его за веревку по скользкой траве к стану. Дядя Юлиус, увидев меня, спустился и помог дотащить рыбу.

Весело принялись потрошить добычу и, присыпая солью, укладывать в большой ушат. Живучие караси внезапно начинали биться и громко шлепать хвостами по плахам стола. Маленькая пугалась, ойкала и ругалась: «Ёшкин свет!»

Внизу три раза кряду бухнули выстрелы — это Иван душу отводит, тешится. Зажгли фонарь над столом, вокруг которого начали роиться ночные серые бабочки и, опалив крылышки, трепыхались на столе. Я прибрал стол и унес рыбы потроха подальше от стана. Прикрыли рыбу рогозом и придавили

гнетом. Попили чаю, и родители с дочкой ушли спать. Я потушил фонарь, разложил у спуска костерок и стал поджидать дружка. Взошедшая луна включила серебристые огоньки, многократно отразившись в ериках, озерах и бочагах каньона. Как в бочку бухала выпь, а в степи за лесом перепелка без усталости звала ко сну. Ну, куда это корефан запропастился? Последний седьмой выстрел прогремел около часа тому назад — я считал. Наконец, послышались шаги по высокой траве и шумное дыхание идущего в гору человека.

Проснувшись чуть свет, я рассовал по карманам патроны, которые ночью зарядил Иван, отослав меня поспать хоть малость перед первой моей утренней засидкой. Темная линия моих следов разорвала матовую фольгу росной травы до самого озера. Хорошо, догадался пиджак надеть, — сырой ветерок плотно жмет и взбивает небольшими, но быстрыми волнами серую пену у кромки камышей.

Раскутал ружье и встал в затишек за стену густого высокого камыша. Еще темные низкие тучки быстро летят на запад, освобождая небо встающему солнцу. Серый восток все сильнее и сильнее набухает ярко-розовым. Стайки уток носятся над озером. Из наставлений дяди Юлиуса знаю, что на рассвете утки высоко и как попало летают, а после восхода перестают мотаться и, покормившись на полях, спешат отдохнуть (особенно в ветреную погоду) на тихой воде под защитой камышей.

Солнце приплюснутым красным ломтем оторвалось от горизонта и, округляясь, медленно поплыло вверх. Вода заискрилась, мир стал ярче, подвижнее, звонче.

Вот они! От кромки противоположного берега отделилась колеблющаяся строчка летящих прямо на меня птиц. Непривычно темные, они летят как-то необычно — шеренгой, и «походка» у них какая-то не очень утиная. Пульс гаснет всюю! Разбираться некогда — крайняя слева идет прямо на меня метрах в трех над водой. Взял на мушку и спустил курок и в тот же миг углядел над куриным клювом птицы белую бляху. Лысуха! Ванька ржать будет — на воющую утку-рыбалку заряд угробил! Все, беру себя в руки. И вот уже другая стайка, клубясь, несется ко мне. Ясно вижу трех крякашей, вокруг которых вьется пара чирков. Только бы не свернули! Со психу пальнул в кучу, нарушив правило: целить в птицу, а не палить в стаю. Но один чирок, как на стену наткнулся, — на миг замер на месте и камушком упал передо мной. Кряковый попытался дотянуть до камышей, но крылья внезапно подломились и он упал на воду. Я, не спуская с него глаз, перезарядил и переждал пару минут. А то — учили меня — выпустишь его из виду, а он очухается от шока и поминай как звали! Нет, вроде крепко улегся.

Солнце, растратив розовую краску на улетевшие к западу облака, стало белым и горячим. Упругий ветерок унялся, перестал трепать камыши и рябить воду. Поспешным выстрелом выбил из станицы еще одну утку, но упала далеко и начала уходить в заводь за камышами. Бросился в воду и сгоряча, без толку истратил еще два заряда по слишком далеко плывущей птице. Ушла. Пока гонялся за подранком, лёт заметно пошел на убыль. Балда заполошная! Только время и патроны зря потерял. Молю, не зная кого, чтобы хоть разок еще налетели в меру. Умолил — летят! Прямо на меня! Нет, сворачивают!?! Высунулся из-за камыша, а он — вот он! Увидел меня и турманом вверх! Выстрелил навскидку и снял-таки красавца! Упал за мной на луг. Я, заряжая на ходу последний патрон, выбрался из камышей. Лежит на бугорке большой красавец-селезень. Ни единое перышко не помято и ни капли крови на роскошном оперении птицы. Под багряной грудью перламутровый узор хлупи



светится, зеленый бархат головы заткан золотыми и лиловыми блестками, галстук и манжеты первого снега белее. На хвосте лихо две косицы черного пера закручены. Силен!

Наша жизнь на стане вошла в колею и шла своим чередом. Поднявшись чуть свет, работали, рыбачили и охотились. Когда нас звали обедать, мы, быстро вскупнувшись у родника, объедались вкуснейшими борщами с утятинной или ухой и жареной рыбой и, малость подремав в тенечке, снова за работу до позднего вечера.

Балаган, вместо плохо держащегося на жердях и быстро преющего сена, ровно покрыли снопами непромокаемого долговечного камыша. Фронтоны лозой заплели и глиной помазали. В один застекленную раму вмазали, а на низкий проем другой дверь из плах навесили. Картинка! Печь поставить — и зимовать можно.

В четверг вечером трехтонка из МТС приехала. Косилку и грабли конные сгрузили, точило, бочку с солидолом, вилы и литовки, пару фляг, котел, сундук с посудой и прочие необходимости.

После ужина мы с Иваном спустились к протоке. Вынули карасей из сети и невод до засидки протащили. Сегодня Ванькина очередь вечернюю зарю стоять, и я, перекинув веревку через плечо, потащил мешок с рыбой вверх. Юлиус Давыдович с шофером спустились мне навстречу и понесли рыбу под навес. Перебрали улов и отсыпали шоферу ведро крупных карасей, две большие щуки и с полведра мелочи на уху. Молчаливый водитель, радуясь щедрому дару, поговорил с нами о погоде, о видах на урожай и, покурив на посошок, уехал домой.

Только солнце зашло, как появился Иван и с показной небрежностью кинул на стол связку уток. «П-пять из семи! Бабах — и п-привет, ёшкин свет!» Фрида Абрамовна поставила нам миску жареных карасей и принялась щипать трофеи сына. Дядя Юлиус вынес к свету связку двухметровых, тонких, прямых березок: «Ошкурю, чтобы черенки на вилы и косовища в запасе были». И, помолчав, добавил: «Завтра после обеда конюх лошадей пригонит и повариху с продуктами привезет. Успеем кое-какие мелочи доделать, все к стану снести и прибрать, а вечером по холодку тронемся и завтра к обеду дома будем». Мы горячо начали его уговаривать еще и завтра вечером поохотиться и невод вдоль всей протоки протянуть. Старый, прикидывая, прищурился поверх наших голов... Неожиданно нас поддержала Фрида Абрамовна: «Ты, отец, и сам-то спустись с ребятами, постреляй напоследок. А они еще рыбы натаскают. Соседке пару уток и рыбы сколь-то дать надо — за домом смотрит да корову доит. В осоке свежими довезем». — «И то, мать, к коровам поспеем и ладно. Я, пожалуй, и утром с ними спущусь, постреляю. А то всего две зори и отсидел только». Тетушка хитро улыбнулась крупными влажными губами и тайно нам подмигнула. Ванька очень похоже улыбнулся матери в ответ и поднял большой палец: «На ять!» Дядя Юлиус сделал вид, что не заметил наше торжество, и строго сказал: «Киньте быкам сена и спать!» Сгреб и сложил у печки стружки и задул фонарь.

Нас разбудил дождь (старики и малышка спали в шалаше), и мы, сгребав стелюшку, укрылись под навесом. Дождь нас только чуточку задел, а над долиной творилось что-то космическое, жутко-прекрасное, как на картинке «Sündflut» в бабушкиной библии. Пятна лунного света, прорываясь через просветы мчащихся туч, стремительно скользили по склону и озеру. Непроглядная темнота, накрывшая беспредельную степь до самого края, при беспрестанных всполохах зарниц превращалась в клубящуюся круговерть

высоченных багровых туч, под которыми косо висели громадные полотнища проливного ливня. Вспышки молний в полнеба дробились и дрожали в многочисленных водоемах каньона. Все клокотало, сверкало и несло, казалось, во все стороны сразу. С другого конца Земли, неведомо из какой дали и тьмы крошечной, из хаоса вселенского накатывались волны непрерывного, утробного гула: «Гу-у-у-у, гу-у-у-у, гугу-у-у!»

Помалу буйство природы начало затихать, отодвигаясь все дальше за горизонт. Луна ушла за лес, уступив место близкому уже солнцу. Заухала ночная птица, внизу хором заурчали лягушки.

Уснули мы под навесом на столе. На восходе завозилась у печки тетя Фрида, и Иван больно толкнул меня в бок: «П-проспали, ёшкин свет!» Вскочили и, схватив ружье, понеслись к протоке. Стрелять Ванькина очередь, а мне рыбу из сети вынимать.

Ни ветерка. От высоких, неподвижных кучевых облаков струится на землю хрусткий, как первая пороша, прохладный запах. Зеркальное озеро все в себя вниз головой перекувырнуло. Скинул одежду и вошел в воду. Ух! Кишочки кверху в грудь посунулись. Набрал побольше воздуха и разом присел. Душа возликовала, а тело с испугу воздух выдохнуло: «Вуф!» Повесил ляжку мешка на шею и подошел к сети. На берестяном поплавке, стылая еще, стрекоза сидит. Взял за крылышки и полюбовался громадными радужными глазами, янтарными переливами члеников и золотыми блесками в слюде крылышек. Поднес к торчащей из воды былинке. Репьем вцепилась — не согрелась еще, лететь не может.

Намучившись, выпутал из ячей бьющихся карасей. Парочку упустил-таки! Одеваться не буду — у Ивана только один патрон остался, успеем еще раза два невод затянуть. Поднялись к стану с богатой добычей: четыре утки, ведра полтора карасей, пара щук и частичка разного с ведро.

Начали собираться домой. До половины загрузили арбу тонкими, ошкуреными ивовыми и березовыми жердочками и снопами молодых побегов лозы. Черенками для лопат, метлами и корзинами на целый год МТС обеспечили. В передок подводы щедро душистого сена настелили, а сзади свежескошенного рогоза и молодого камыша набросали — в этом ворохе и рыбу, и добытых уток свежими домой довезем. Ушат с мочеными карасями надежно укрепили и укрыли. Мешки с сушеной и вяленой рыбой тоже надежно пристроили.

У начала спуска штабелем уложили волокуши из молодых березок и прижали их бастрыками из очищенных от коры осин. Наколотые дрова вдоль стенки навеса сложили, собрали и утащили прочь от жилья накопившийся мусор. Унесли за кусты и поставили над ямкой с перекладиной сплетенный из лозы гальюн. Кажись, всё. Сейчас как следует искупаемся, пополдничаем и в последний раз спустимся к озеру и протоке.

За полдником услышали стук колес, фыркание лошадей, и из-за леса выехала запряженная парой телега с пристяжными по бокам. За телегой на поводу еще три лошади идут и два жеребенка устало плетутся. Помогли распрячь и напоить коней, спутали и отпустили пастись. Жеребята, насосавшись материнского молока, развалились в тени. Повариха и конюх умылись у бочажка, сели к щедрому столу хозяйки.

Юлиус Давыдович, глянув на солнце, сказал: «Пора!» До начала большого перелета уток он потаскал с нами невод. Выбирая из мотни улов, ласково «ёшкинсветил» красноперых, полосатых, колючих окуней. Сняли сеть и, вынув карасей, разостлали рядом с неводом. Оделись, передохнули малость.

Я остался с берданкой у протоки, а Иван с отцом, прихватив скатки высохших снастей, рыбу и ящик с мушкетом, подались на другой конец озера.

До заката еще часа два. Тихо. Комары зудят и норвят сеть прямо на зрачок. А вон и утки с поля возвращаются. Сердце начало набирать обороты. Грохот пищали прокатился над озером. Ага, там уже сезон начался. Сча-ас!

Утка пошла так дружно, что через полчаса сунул в карман последнюю гильзу и, взяв добычу, пошел туда, где к небу время от времени поднимался клуб дыма и бухал выстрел.

Засидку свою старик обустроил основательно: на четыре воткнутые в землю рогульки уложил палки и застелил их мешком с сеном — сиди себе, уток поджидаячи. Ружье, готовое к выстрелу, удобно на сошки уложено. В пенале желобок отгорожен, в котором аккуратным рядком стоят газетные кулечки с отмеренными зарядами пороха и дроби. На плёсе, метрах в тридцати от засидки, покачиваются штук пять чучел, искусно вырезанных и раскрашенных под серых уток, к которым уже три жениха подсели, безуспешно пытаясь потоптать прекрасные, но неприступные манекены. Иван, стоя коленями на пучке камыша, вытянув шею, неотрывно смотрел на плёс, поминутно облизывая губы. Старик заметил приближающихся уток и закричал манком. Как по команде четыре селезня спланировали и шлепнулись вблизи чучел. Три жениха-остолопа с шумом кинулись отгонять соперников. Отец быстро уступил место сыну, шепнув: «Сойдутся — бей!» Ванька выждал и выстрелил. Я ослеп и оглох от неожиданности. Когда дым рассеялся, Иван рассекал воду уже на полпути к бьющимся на плёсе селезням. Даже штаны не снял, увалень. Вернулся с четырьмя красавцами, гордо их потряс перед нами и уложил в мешок, где лежало уже шесть уток.

Юлиус Давыдович кивнул на сиденье и, подав мне ружье, сказал: «Садись, заряжай». Под его присмотром я, слегка волнуясь, зарядил эту архаику: отщипнул кончик кулечка и впустил в зевластый ствол струйку пороха, которую запыхивал тем же кульком. Таким же манером отправил в ствол увесистую порцию дроби, крепко прижав шомполом пыж из лоскута газеты, в который она была отмерена. Затем осторожно надел на пистон капсюль и уложил бомбарду на сошки. «Не торопись, пусть сойдутся поближе», — сказал мой наставник и ушел за камыш. С понятием дед — не стоит над душой, не мешает.

Ванька — не помеха, пусть сопит за спиной, но как только завидел уток, начал дуть в манок так рьяно, что утки в сторону свернули. «Заглохни, заполошный! Чего ты на все болото полундру развел? Утки со страху летать перестали». Он виновато протянул мне свистульку.

Вдоль камышей низко над водой несется стайка уток. По стремительному полету и силлому покрякиванию узнал красноголовых связей. Я вежливо поскрипел манком в ответ. Заметив чучела, заложили вираж и, сделав большую дугу, шумно сели у входа в заводь. Далековато. Тихонечко еще поманил и загайлся. Чучела-то под кряковых разрисованы, вот они и хладнокровничают. Но, щелоча по пути ряску и теребя перышки под крыльями, начали медленно приближаться. Горячий выдох-стон обдал мне ухо: «Давай!» Да, пожалуй, в самый раз! Прижал приклад к плечу и выстрелил в табунок. Когда дым рассеялся, увидел дымящиеся клочья пыжей, разлетевшиеся по всей заводи, и Ивана, бродящего по пояс в воде и подбирающего подбитых уток.

Ну, всё, трогаем! Завтра к вечеру будем дома. Колеса смазаны, все уложено и укрыто. Голова громадной щуки, которую Иван засушил, расшиперив ей крокодилью пасть березовым колышком, лежит в коробе с посудой. Вещдок

что надо! А то, как ни божись, все равно лыбиться будут, тая в глазах ехидство: мол, знаем мы эти ваши рыбацкие байки. А это что? То-то.

Когда вывернули из-за леса на дорогу, поздние сумерки совсем потушили светлую полосу неба на западе, но луна раздвинула мглу над степью, и мы уснули под ее серебристо-голубым мерцанием.

На рассвете я проснулся. Прохладно и тихо. Вдоль лесопосадки, по прямым пыльным колеям узкой полевой дороги, воз идет без толчков и стука. Только иногда скрипнет ярмо или вздохнет бык. Справа до горизонта поля пшеницы с плоскими силуэтами березовых лесков и длинными просевшими скирдами прошлогодней соломы. Пахнет росой, пылью и мокрыми акациями. Далеко в полях перепелка позвала невпопад: «Спать пора», но сконфузилась и умолкла до вечера. Свистя крыльями, к дальнему болоту пронеслась стайка чирков. Все спят, только фигура дяди Юлиуса бдит в вертикальном положении.

В посадке свистнула птаха. В ответ ни гу-гу. Свистнула погромче раза три подряд. Помогло — отозвались ближайшие соседи и, вдруг, как невидимый дирижер палочкой взмахнул, разом со всех сторон грянули щебет, чирикание, трели всех пернатых обитателей степи, и поплыла в небо торжественная увертюра нарождающегося дня! Мажара задела низкую ветку, и на нас сыпанули холодные капли росы. Большая птица с треском сорвалась с дерева и, оглушительно стрекоча, унеслась вдоль посадки. Все завозились и сели, потягиваясь и протирая глаза. Солнце оторвалось от горизонта, и все стало объемным, цветным и радостным.

Полуденную жару переждали в знакомой роще, освежившись в родниковом озерке, и поехали напрямик через целинную степь по еле различимой заброшенной дороге. От возни непоседы Фридки избавились, усадив ее впереди и сунув ей в руки прут: «Погоняй!» Отвязалась. Теперь без помех можно смотреть на степь, молчать и думать. Воле с дороги не свернут — возница начеку. Проплешины солончаков, дымчато-зеленые полосы пырея и полыни разнообразят монотонное волнение белесой ковыльной степи. На частых сурчинах торчат столбики сусликов. Косматый степной орел теревит добычу, усевшись на межевой столбик. Далеко, в зеленой низине, на берегу заросшего камышом озера, бугрятся плоские мазанки казахов и пасется скот.

Вскоре степь начала становиться цветней, набухая зелено-голубой краской. Это началась другая степь — вспаханная, засеянная, с лесополосами, рощами и селами. Небо все больше насыщалось вечерней синевой. Знакомые места пошли, столбы телеграфные рядом с наезженной дорогой потянулись. Скоро дома будем.

Когда мы въехали в село, навстречу нам с другого конца широкой прямой улицы втекало оранжевое от закатного солнца облако пыли. Безногие силуэты коров плыли по золотым клубам, на которых трепетали причудливые фиолетово-рогатые тени. У своего двора буренки выныривали из клубящейся пыли и, тяжело вздохнув, заносили набухшее вымя в родные калитки.

Пыль от коров давно осела, и наступили длинные летние сумерки. Я тщательно умылся в кабинке самодельного душа, оделся в чистое и пошел к саманному домику на другом конце улицы, где на завалинке любимая заждалась...

В летней кухне, тренькая звонком, жужжит сепаратор под неумолчную грустную и уютную песенку сверчка. Когда люди, проснувшись на восходе, вновь примутся за свою шумную сутолоку, прервет он свою томную песенку и будет дремать, шевеля усиками, в своей уютной щелке за плинтусом до тех пор, пока они снова не угомонятся.